

Николай В. Кононов

Новая история

Восстание

Документальный
роман



Книжные проекты
Дмитрия Зими́на



INLIBERTY

Новая история

Николай Кононов

Восстание. Документальный роман

«Новое издательство»

2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

Кононов Н. В.

Восстание. Документальный роман / Н. В. Кононов — «Новое издательство», 2019 — (Новая история)

ISBN 978-5-98379-233-3

Война, плен, власовское движение, концлагерь, Холокост, послевоенная Бельгия, репатриация, ГУЛАГ, легендарное Норильское восстание – все это вошло в жизнь одного конкретного человека, в которой общий опыт русской и европейской истории столкнулся с органической непереносимостью принуждения и несвободы. Документальный роман Николая В. Коконова «Восстание» выводит на сцену нового героя советской эпохи и исследует, как устроено само человеческое стремление к свободе – в подневольной стране, в XX веке.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-98379-233-3

© Кононов Н. В., 2019
© Новое издательство, 2019

Содержание

Восстание	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Николай В. Кононов

Восстание. Документальный роман

Я попал в трудную ситуацию. Сергей Соловьев (1916–2009), идеолог подпольной Демократической партии России, один из лидеров Норильского восстания и вожак бунта на колымских шахтах, был умелым конспиратором. Свидетели указывали на него не столько как на предводителя боевого – после войны в особых лагерях сидело много офицеров, – сколько как на стратега. Все описывали его тихим, малозаметным человеком, шахматистом, чертежником с торчащей из кармана рейсшиной. После смерти от него остались сонник, стопка писем друзьям и сестре, план родительского дома с садом, блокнот со схемами изобретений и выписками из лекции математика Шафаревича на вручении Хайнемановской премии, статьи Толстого о Карпентере и пособия «Ремонт часов». Но нигде Соловьев не проговаривался о событиях, которые породил и в которых принял участие, и только в некоторых записях снов зашифровывал прожитое. Единственный раз он исповедовался историку, и даже в том разговоре почти не коснулся деталей содеянного. Ему было кого и чего опасаться, и он остался неуловим. Однако в последних письмах Соловьев повторял, что жалеет, что его эпопея останется неизвестной.

Заинтересовавшись сонником и отправившись искать другие свидетельства, я понял, что его дар уклонения от вражеского ока воздвигает передо мной незримую стену. Архивные документы давали немного ответов, последние свидетели умерли или ничего не могли добавить к известному. Но со временем мне удалось восстановить случившееся в деталях. Повторив маршруты героя и побывав на местах действия, я счел, что вправе шагнуть за эту стену и, оттолкнувшись строго от фактов, написать свою историю одного восстания. Это не биография. Это роман по ее мотивам – немногочисленные документы набраны в книге отдельным шрифтом. Чтобы не позволить дару конспирации оставить в тени своего носителя, мне пришлось стать Соловьевым.

Автор сердечно благодарит Галину Касабову, Владимира Ронина, Павла Поляна, Ирину Островскую, Кирилла Александрова, Ивана Паникарова, Олега Ромейко, Владимира Ройтера, Ольгу Лесли, Марину Шандарову, Эмилию Кустову, Андрея Портнова, Анну Нетто, Николая Миловидова, Николая Формозова, Веру Аммер, Елену Барышеву, Наталью Руф, Анастасию Крылову, Людмилу Гольдберг, Александру Поливанову, Ларису Коробенину, Павла Аптекаря, Никиту Ломакина, Александру Нейман, Алексея Бабия, Виктора Земскова, Татьяну Герасимову, Наталью Лебину, Артема Латышева, Николая Эппле, Элизабет А. Вуд, Оксану Дворниченко, Энн Эпплбаум, Игоря Ермолова, Евгения Кодина, Алену Козлову, Вячеслава Ященко, Николая Михайлова, Инну Гэншоу, Виктора Данилова, Теодора Шанина, Ларису Краюшников, Ивана Ковтуна, Дана Михмана, Филиппа Нонклерка, Михаила Дзюбенко, Шейлу Фицпатрик, Сергея Дробязко, Александра Литина, Марину Мосейкину, Бориса Беленкина, Галину Дурстхоф, Дмитрия Жукова, Андрея Жемкова, Галину и Михаила Ежовых, Дарью Хлевнюк, Ирину Щербакову, Николауса Вахсмана, Джейн Маркс, Ольгу Эдельман, Наталью Федянину, Сюзанну Вромен, Никиту Петрова, Виктора Кондрашина, Константина Залесского, Татьяну Раеву, Татьяну Котову, Бориса Соколова, Сашу Мансилью-Круз, Александра Миронова, Шарлотту Декостер и других, чьи консультации, интервью, книги, статьи и исследования помогли мне в работе над этой историей. Отдельная благодарность Алле Макаровой, которая собрала свидетельства о Норильском восстании и сделала их общедоступными, а также Международному обществу «Мемориал» и его сотрудникам за возможность работать с личным архивом Сергея Соловьева.

Восстание

Я умер в предпоследний день зимы, держа Анну за руку и глядя в окно. На холмах шуршали сухие травы, бешено, заполняя комнату шумом, будто стоял август, налетел ветер, и замесались полынь и тимьян. Пустое небо сменилось снежным, пришли облака, кучевые, дождевые, волокнистые с наковальной, за ними просвечивающие, лысые, слоистые – я вспомнил, как меня учили называть их.

Отрываясь от земли, не привязанный к ней ничем, я не оставлял ценных вещей, наследства, дома, ничего, кроме полок с книгами, конспектов и сонника. Я не был зарегистрирован, учтен и не имел документов. Когда я вышел из конторы с паспортом и сел в припадающий на два левых колеса «лиаз», я знал, что наделен этой книжкой с фотографией ненадолго, меня не любят бумаги – отлипают и улетают. Так и в тот раз, в автобус зашли разные люди, были с фабрики, один с портфелем, и еще какие-то с мешками, и они толпились, и я знал, что один из них залезет в карман моего пиджака и вытащит паспорт, которому не удастся приковать меня к этой земле. Но кроме того я знал и другое: меня не оставили в покое. Где-то еще хранилась папка, набитая желтой бумагой с бегущей по ней машинописью: «Особо опасен, склонен к побегу».

В последние годы мы осели у Горького озера, а затем перевезли сруб на окраину городка, где за изгородью колыхалась степь – до самых безлесых холмов. Далеко за холмами начинались гольцы, торчащие из земли: великаны с зализанными лбами и пальцами, грозящими небесам. Иногда я чувствовал, что смогу дойти до гольцов, и отправлялся туда. Земля Алтая похожа на воду в котелке, когда та только что закипела и вздувается пузырями. Поля расходятся искривленными склонами, и желтеют скалы, предсказывая скорое появление гор с ледниками. На рассвете озеро дымилось, будто на середине его был остров и там жгли костер. Я пробирался к берегу по полю сквозь туман, и мне казалось, что сейчас навстречу выйдут родители, Ольга, Толя, Маргариточка и другие.

Возвращаясь, я встречал женщин, у которых жил, мать и дочь, они стояли по колено в полыни и пели. Я не верил в их бога и, когда они молились в степи, вставал рядом, уважая, но молчал. Мы переписывались годами, прежде чем они позвали меня приехать. Я знал, что их церковь, старая, всегда была гонима и стремилась дальше и дальше от городов, и я с этим соглашался. С кем бы еще я смог жить, если не с тем, кто понимал, что нет ничего, а есть только ветер.

Сорванные травы я нес в аптеку, не дожидаясь приемщика, бросал мешок у двери и уходил, а деньги забирали женщины. Тем мы и жили. Я чувствовал, что уже скоро мне закроют глаза листом с молитвой и положат под крест с двускатной крышей. Тот, кто верит в любого бога, хотя бы и красного, и даже языческого, – тот легче переносит долгие сроки страданий, ожидает награды, воздаяния или хотя бы спокойного конца пути. Но сам я так не мог.

Все двадцать пять лет я записывал сны, и начал это делать из-за слежки на строгом режиме. Пишешь себе, пишешь, а если интересуются, не запрещенное ли, показываешь: вот, сонник. Дневники у таких, как я, отбирали, читали, приписывали какие-нибудь новые мотивы и судили заново. Меня же просто считали сумасшедшим, который сидит на койке с закрытыми глазами и силится вспомнить, что видел ночью. Соседи либо считали так же, либо понимая кивали головой. Вторых я учил конспирации, поэтому вопросов, зачем сшивать двадцать шестнадцатистраничных тетрадей в один том, у них не возникало.

Довольно скоро я научился воспроизводить сны со всеми их подробностями, даже спустя часы после пробуждения, и зарисовывал некоторые из них, хотя это было не обязательно – к тому времени я уже не просто не верил снам, а даже не размышлял о них. Гораздо важнее было спрятать внутри них то, что я помнил по-настоящему. Сделать это было необходимо, потому

что механический труд – изобретать и конструировать, то, что я желал больше всего, мне не разрешили – отуплял, и как я ни сопротивлялся, все же утратил вкус к выдумыванию разных механизмов и вдобавок *j'ai oublié le français*. Когда твои чувства отсекаются, как члены тела топором, – худшая из пыток. Из моих прежних ощущений осталось лишь видение себя точкой, перемещающейся в карте, и я по-прежнему безошибочно определял, где нахожусь, и ни разу не заблудился в предгорьях, как бы далеко ни ходил.

Я не хотел встречаться с соседями по неволе, только переписывался и до конца опасался, что сероликие не оставят меня в покое. Когда приезжали гости, называвшиеся историками, я прятался, уходил к холмам и ложился лицом в траву. Однажды не успел и занавесился платьем – гостя решила, что клочкобородый дед в вязаном свитере с нелепыми узорами просто сошел с ума – а я заслонился от зарева, которое становилось невыносимым, когда приближались они. Сначала я думал, что мне мстят за отца, затем – за предательство, за восстание и свитки, найденные в шахте, но в конце концов понял, что меня не преследуют, а ведут.

На небе проступило водяным знаком облако-коготь. Травы шумели невозможно громко. Анна приблизилась, ее глаза сияли, и я подумал: почему многие так уверены, что поступали бы на моем месте иначе, и разве я был нечестен, или хотел несбыточного, или в самом деле предал? Потеплело, из степи задул ветер, и в ставнях звякнули стекла. На столе дрогнул листок, единственный документ, который я все же носил с собой. Там было написано: «Невиновен». Я повернулся к Анне и спросил: «Правда?»

Взяв стаканы, я налил воды на два пальца и развел зеленую и голубую, и, пока они отстаивались, намочил ватку и прошелся по листу. Бумага была плотная, однородная и подсыхала равномерно. Я включил светостол и стал рассматривать план. Линии бежали ровно, нажим карандаша был один и тот же во всех штриховках, и лишь по левому краю листа становилось заметно, что записатор торопится. Не только из-за того, что ему пришлось работать резинкой, оставляя шероховатости, но и потому, что у самого края в кляксе крови распластался, оттопырив ноги и вздернув крыло, комар, превратившийся в мумию. Такие планы отмечали как испорченные, и записатора могли выгнать – горячиться и бить насекомых на столе нельзя. Но это был лишь один из листов полевой записи, к тому же Лапшин знал меня и понял, что я оставил мумию за ее красоту.

План под лампой казался настолько четким и лаконичным, что вызывал какую-то мышечную радость. Я схватил кривоножку, заправил ее коричневой тушью и начал перечерчивать рельеф. Кривоножка давала ровную линию и ехала плавно. Удача заключалась в том, что она была вовремя поточена, а если бы нет, то в столь тонкой рисовке одна ее створка резала бы бумагу, а другая давала рваную линию. Предстояла ночь работы, поэтому я не стал выписывать зубцы оврагов совсем уж ажурно и поторопился перейти к домам и дорогам.

Когда рельеф был готов, я положил кривоножку в футляр и взял рейсфедер. Выставил нужную толщину и начертил, а потом заштриховал брасовские постройки, после чего быстро разделался со Сныткиным и Кропотовым. Час мучился с тропами к Александровскому и самим лесом, где вместо отмеченных на старой километровке елей толпились березы с дубами. Вспомнилось, как мне пришлось часами блуждать в намокших сапогах с блокнотом, записывая высоту и толщину стволов для каждой породы. Впрочем, с расчетами этого лесного гоголя-моголя меня примиряла рисовка цифр – я обожал курс каллиграфии, выучил все допустимые гарнитуры и с удовольствием тянул линии четных чисел вверх, а нечетных вниз; казалось, будто цифра отплясывает. Затем на плане возникли конезавод, церковь, амбар, гостевой дом, где теперь жили мы, приезжие студенты. Вытянутое здание императорского дворца я нарисовал последним – как и флигель, где сейчас сидел в чертежной. С постройками было кончено.

I

Взяв с поверхности воды немного зеленой, я стал наносить лес. У кромки поля, где началась пойма реки, в окно ударил снежный заряд. В форточку влетела горсть снега, и я, дернувшись, посадил темно-зеленое пятно. Пришлось смочить ватку и растереть его до бледности. Над рошей я некоторое время колебался, делать ее лесом или кустами. Великие князья закладывали между аллеями лужайку, а дубы были высажены позже, уже при техникуме, совсем недавно, и выросли не выше двух с половиной метров. Считалось, что, если к дереву подъехал казак на лошади, держа в руке пику, и верхний листок оказался выше пики, значит, на карте следует изобразить лес. Намеренные мной два с половиной метра – явно ниже, чем пика, это скорее голова казака. Черт его знает, правда, на каком коне он сидит. Посомневавшись, я сделал лес. С парком же мучились все, кто учился в техникуме на топографа. Когда-то Брасовом владели дворяне Апраксины, а потом продали имение царской семье, и новый архитектор разбил парк так, что тот получил очертания двуглавого орла. После революции соблюдать его идеи стало некому. Во дворец въехал гидромелиоративный техникум, и пустоши под крыльями и клювом орла стали зарастать. Их то стригли, то бросали, начался хаос, и год от года студенты сдавали планы с разными орлами.

Я подцепил на кисть голубую, повертел под лампой и прислушался. Казалось, в коридоре кто-то ходил. Не то чтобы рассекречивание было смертельным – мне поверили бы, что я засиделся до ночи над курсовой, которую начал готовить еще с декабря, – но мне хотелось как можно дольше попользоваться якобы потерянным ключом к чертежной. Звук не повторился, и я приступил к Неруссе. Почему-то, когда я чертил землю и дома, мог чувствовать и свободу, и легкость, но никогда – то особенное счастье, которое ощущаешь, когда карта начинает двигаться, превращаясь из плана на ватмане в живое. Стоило же нанести реку, извивающуюся червяком, купальни и пруд, болота с черточками – и даже тогда, даже той ночью я забыл о письме, которое жгло мой внутренний карман, и полетел над брянскими заунывными полями.

Карта была готова, когда дверь приоткрылась. Как в оперетке, в чертежную просочился тот, кого я не ждал, – Воскобойник. Он вел у нас физику, а также читал политинформацию. Раз в неделю мы слышали от него, что Германия и Япония точат зубы, надо сдать нормативы на значок «Будь готов!» и перезаряжать винтовку за три секунды. Речь Воскобойника всегда бурлила, изобиловала размахиванием руками до треска пиджака под мышкой и риторическими вопросами с приподнятой бровью. Но я всегда удивлялся, как он умеет переключаться из громового регистра в молчание – особенно когда ходил к нему в кружок изобретателей. Мы могли сидеть и часами мастерить какой-нибудь станочек, и все это время Воскобойник тихо паял или склонялся над тисками, не выпуская из зубов мундштука с обрезанной наполовину папиросой. Он увлекался, и мы видели, как его черная борода и тонкие брови хмурились, злились и жили недоступной нам жизнью. Я понял, что эта жизнь не связана с винтовками и клятвами перевыполнить план. На столе он держал фотопортрет семьи, с которой жил здесь же, в соседней Локти.

Я даже не вздрогнул, когда Воскобойник пересек комнату и склонился над светостолом. «Что делаете?» – спросил он, доставая из кармана мундштук. «Километровку, – ответил я. – Километровку для экзамена». Он сунул мундштук обратно в карман и перестал делать вид, что карта его интересует. «Я думал насчет вашей идеи с полетами, – начал он. – Вряд ли мы в ближайшее время заманим сюда каких-нибудь воздухоплателей, но, как мы говорили, можно попробовать изготовить шар самим и найти горелку. Это не так трудно. А что действительно важно – и что касается вашего чертежа, где вы рассчитывали искажения при аэросъемке, да? – я только что прочитал в статье, что в Ленинграде изготовили объектив, настолько широкий, что

не дает искажений. Завтра я принесу вам журнал. Можем устроить дело так, чтобы техникум выписал этот объектив».

Стало ясно, почему Воскобойник волнуется. Два года я бился над идеей снимать землю с воздуха, но так и не придумал, как избавиться от искажений, которые давали обычные объективы, и он сам заразился этим моим увлечением. Взлететь с фотоаппаратом, уместившись на двух дощечках и привязав себя к канату, нетрудно. Можно даже соорудить корзину, хотя лучше без нее – мороки много. Но обычные объективы передавали искаженную картинку, поэтому требовался особый объектив или насадка. В журналах мы видели целые стада дирижаблей, да уже и аппарат, похожий на батискаф, полетел в стратосферу, – а топографы все скакали по земле, словно кузнечики с треногами. Вместо наших блужданий с мензулой и рейками по колено в воде в противомоскитных сетках можно было запускать шар, привязывать его к колышкам, сажать на сиденье наблюдателя, и тот бы сверху снимал за час все, над чем мы мучаемся день. Поля моих тетрадей заполнялись людьми на аэростатах, которые кружили друг вокруг друга, и вскоре я сдал Воскобойнику чертеж насадки с линзами. Он посмотрел, исправил кое-что, но показывать одноногую директорию Космылину не стал – столь дорогие линзы техникум не мог себе позволить. Теперь же в Ленинграде изобрели именно такой объектив.

«Очень интересно, – сказал я. – Я очень вам благодарен и с удовольствием посмотрю. Но объектив вряд ли привезут до лета, а ведь я после экзаменов уезжаю. Да и те хотел сдать раньше». «Действительно интересно, – отозвался Воскобойник. – Я думал, вы останетесь. Понятно, что для Космылина аэросъемка – это какие-то причуды, но я бы получил для вас ставку лаборанта, а потом доказал, что этот метод съемки надо хотя бы знать – и, чем черт не шутит, вы бы преподавали, летали на шаре. Педучилище окончили бы заочно или вовсе экстерном».

Это было искушение. Я любил Брасово и хотел остаться. Для меня усадьба была островом странной, не представимой на моей родине жизни. После переворота великий князь бежал, и брасовцы охраняли имение от грабителей, пока не явились красные с мандатом, печатью и подводами и не увезли картины с утварью в Москву. Говорили, что позже они потеряли описи награбленного, скорее всего специально, чтобы продать золото в другие страны, но стараниями бывших служителей недорого выглядящие книги остались в библиотеке. Сторожевая башенка дворца, похожего на буддийский храм, высилась над соснами, и с ее балкона мы смотрели на закате, как дымится Нерусса и медные поля ее поймы. Я залезал еще выше, на грохочущую железную крышу, и читал «Рождение трагедии из духа музыки», Гомера и Моммзена с видом на аллеи, клумбы и заводы, где брат императора разводил форель.

Мы жили почти как монахи. Почти, потому что с нами в группе училась Зина Кокорева – единственная, кого допустили к гидравлике и дифференциальным уравнениям. Она жила с другими девочками в бывшем гостевом доме князей. Нам ничего не рассказывали sur le sexe, и девочкам тоже, и молчание говорило о недопустимости самого разговора об этом. Поэтому между нами стояла какая-то стыдливая стена. Все думали о близости, мучились от своей девственности, но шептались разве что о поцелуях кого-то с кем-то и, закусив подушку, ils masturbaient, подгадав момент, когда из тесной комнаты уходили соседи. С другой стороны, я вполне мог быть не до конца осведомленным в половой жизни однокурсников или просто не видел ее, поскольку с трудом отрывался от топольской картографии и шахмат. Особую стипендию мне назначили после того, как я заменял учителя по черчению первокурсникам и потом еще несколькими потоками, и по съемке тоже.

«Послушайте, – оборвал паузу Воскобойник. – Я бы на вашем месте еще немного подумал. Вас тут ценят. Болванов в техникуме мало, и они ничего не решают. Вы будете вдали от суеты, а это очень важно сейчас». Услышь я это неделей раньше, начал бы прикидывать шансы, но теперь уже знал, что делаю, и сказал, что, если по-честному, не ожидал, что кто-то поддержит мою идею, и мне надо подумать, и конечно, я мечтал о полевой работе, но теперь...

«Что случилось с вашим отцом?» – спросил Воскобойник, не меняя тона, и все рассыпалось. Комната закрутилась перед глазами и не останавливалась, линейка заблестала гильотиным ножом. Меня шатало. Воскобойник же вертел в руках мундштук, ждал ответа и наслаждался тем, что застиг меня врасплох. «Почему вы решили, что с моим отцом что-то случилось?» – «Я видел, что вы читали письмо из дома, и лицо ваше сделалось серым, как глина». – «Откуда вы знаете, что оно из дома?» – «Вы других не получаете, и вообще-то на вас это похоже». – «Что? Что не получаю?» – «Да». – «Но почему вы сразу про отца?» – «Ну, забирают же мужчин, а вы сами рассказывали, что вы старший сын».

«Что значит „забирают“?! – крикнул я, забыв, что на дворе ночь, а над чертежной на верхнем этаже флигеля спал второй курс мелиораторов. – Вдруг у нас кто-то умер или в больнице? Что вы вообще говорите!» Воскобойник улыбнулся, прикурил, взял мундштук в рот и стал разглядывать мой план. «Понимаете, – сказал он, – я видел достаточно людей, получавших известия о смерти. У меня работа была такая – сообщать. Одни вскакивают, другие переспрашивают: „Что, что?“ третьи падают лицом в руки, но никто не боится пошевелиться так, чтобы окружающие не заметили. А вы окаменели, я видел. Так каменеют, когда узнают, что кого-то взяли. Дайте мне письмо». – «С чего вы взяли, что оно у меня с собой?» – «Такие письма не оставляют, разве что в сейфе, но сейфов здесь нет». – «Зачем оно вам?» Воскобойник выдохнул дым. «Хочу посмотреть дату отправки». – «Я вам и так скажу, но зачем вы хотите?» – «Охота началась в августе и должна была завершиться за полгода. Если вашего отца взяли позже, так сказать, конца сезона, значит, охотникам увеличили квоту на отстрел. Продлили сезон». – «Я не понимаю, о чем вы. Мать написала, что он не вернулся, и все. Мало ли что случилось. Вдруг он опять уехал...» Я спохватился и быстро назвал дату: третье декабря. Воскобойник считал в уме, промакивая что-то ваткой на моем плане – мне было уже все равно, что он может быть испорчен, – и наконец досчитал: «Его взяли прямо перед тем, как послать в центр окончательную сводку. Значит, держали на карандаше до последнего. Край у них был пятого числа. А может, наоборот, они срывали план, и в последний момент искали, кого еще взять, и нашли его. Не могу вам сказать, откуда я это знаю, но это не так важно, они же не скрываются, они гордятся тем, что обезвреживают врагов, жалуются, что служба трудна. Вы сказали: „Опять уехал“, – значит, он уже прятался. Вашу семью по первой или по второй категории высылали?»

В этот момент я догадался, о каком плане он говорил. До того из письма матери я как идиот вычитывал, что надежда все-таки есть и отец мог уехать сам. Там было написано: ушел в совхоз и не вернулся, в городе его не видели, уполномоченный молчит, зайти в Смоленске в управление и навести справки. Теперь я понимал, какое управление она могла иметь в виду, только его и никакое другое, но побоялась об этом написать впрямую. Из меня вырвалось: «Сволочи». Вероятно, вид мой был пронзительный, а взгляд как у василиска, потому что Воскобойник мигом затушил папиросу: «Погодите. Я объясню вам, почему спрашиваю. Когда-то я учился на юридическом, еще тогда, – он показал большим пальцем за спину, – и мне показалось, что не могу же я не пойти на войну, когда родина гибнет и сводки всё хуже. За царя, за родину, за веру! Примерно так». Он нахмурил брови и сделал тревожное, одухотворенное лицо. «Я не успел толком повоевать, а когда вернулся офицером, власть уже сменилась. Мы поехали с однополчанами в Саратов, там требовались военные руководители. Я решил держаться власти, закона. Все-таки быть на стороне тех, кто закон писал и исполняет, – чуть больше гарантий, что не тронут. Меня распределили в Хвалынский. Захолустный городишко, несколько каменных домов, в остальном избы, громадный приход у церкви. Первый год после революции очухивались, проедали запасы. Жизнь текла более-менее тихо, и я женился. Коммунистов было мало. Председатель не разбирался в тонкостях веры, стал проводить противопереховные лекции и однажды на окраине в часовне нашел куклу, деревянную такую, в юбке и фартуке, мордовского бога дождя, и велел забрать. Понесли мы ее в исполком, а товарищи верующие схватились за голову и побежали к попу: оказывается, эту куклу там перед севом спе-

циально сажали, чтобы урожай удался. Поп-то их обряды поддерживал и зазвонил в колокол. Прихожане бросились на наших матросиков, те начали стрелять, двоих убили, двоих ранили. Приехала комиссия, предисполкома сняли. Идола сволокли в церковь...»

Воскобойник остановился и посмотрел на меня водянистым взглядом. Стало не по себе. Он отвернулся и пробормотал, что не знает, почему все это рассказывает. Хотя я был совершенно раздавлен услышанным, мне стало неловко от его кокетства, и я махнул рукой: «Вы взяли меня в заложники, так что я слушаю». Воскобойник тонко улыбнулся. «Вам дальше станет понятно. Так вот, на второй год последние запасы иссякли, и больше никто не хотел отдавать зерно. Хозяева вламывались на собрания, перебивали, кричали, чтобы мы выходили из ячейки. Саратов прислал продотряды, и началось то же, что продолжается и сейчас, что захлестнуло и вашего отца. Помню, был такой комиссар Черемухин, сто тридцать кулаков расстрелял, реквизировал все найденное зерно, не выдавая расписок. Сгонял всех на лекции „Почему сейчас власть не может дать максимум“, а когда на него написали донос, из Саратова пришел ответ, что Черемухин „не бандит, а наш почтенный партийный товарищ“ и действует по законам военного времени. Так вот знайте: это время тянется».

Сверху встал кто-то из мелиораторов и, топая, направился в нужник. Воскобойник подкрался к форточке и смахнул с рамы снег. Когда мелиоратор вернулся и затих, он вновь заговорил. На следующий год в Хвалынске был плохой урожай, осенью изымали последнее зерно, а зимой полыхнуло. Горожане писали письма вроде «ходатайствуем и всемиростиво просим уездного райпродкома взойти в наше критическое положение, и не дать нам и нашим детям страдать прежде времени голодом, и дать нам хлеба в определенной норме на семь месяцев», но из Саратова велели терпеть. Первым взбунтовался караульный батальон, которым командовал эсер Вакулин. Бунты покатались как лесной огонь. К повстанцам примыкали все, кто был разозлен красными. В Хвалынск ворвались какие-то непонятные силы, без формы, одни в каких-то тряпках, другие в шинелях с оборванными погонами.

Воскобойник распалился и, исповедуясь, переключился на интонацию политинформатора. Это было бы смешно, если бы я не видел безумие, скопившееся в белках его глаз. Темным хвалынским утром он метался по избе, пытаясь одеться. Как он утверждал, мысли схватить оружие у него не было, а только страх и желание бежать, чтобы не тронули жену. «Всего два выстрела я слышал за все утро – коммунистов взяли почти в постелях. Свели на площадь, и согнали туда горожан. Было сатанински холодно в животе. Я понял, что будут убивать, и молился, хотя, как вы видите, скептичен. Нас выводили по одному и спрашивали у людей: „Хорош?“ Вывели соседа моего, он читал лекции избачам, и одна баба вдруг говорит: „Корову забрал“. Наставник-то избачей! Его ударили штыком, он упал, а дальше били прикладами. Спустя несколько минут один взял винтовку, отодвинул других и выстрелил ему в голову. Труп оставили в снегу и собаки до вечера растаскивали его мозги. Следующего вывели и сказали: „Выпишись из коммунистов, давай к нам!“ Тот помотал головой, и ему выстрелили в правый глаз. Толпа ахнула. Застреленный свалился и, казалось, затих, но потом задергался в конвульсиях. Я, знаете, так скопил глаза на пуговицу шинели и, чтобы не упасть в обморок, забормотал: „Пуговица, пуговичка, держи меня на белом свете, пуговица, пуговичка, держи меня на белом свете“. Меня не тронули, и я поклялся всем богам, что никогда ни за что не буду держаться никакой веры и никаких убеждений».

Лампа заморгала. Где-то отключали электричество, а может, ветер раскачивал брасовские столбы. То вспыхивала чернота, то свет мигом очерчивал сгорбившегося на стуле Воскобойника. Когда иллюминация кончилась, он осторожно поднял взгляд и, не моргая, уставился на меня.

«Я не удивляюсь, – сказал Воскобойник, и ораторский его тон исчез. – Ничего нового в том, что творится сейчас, нет. Долгие годы люди убивали друг друга то голодом, то саблями, то пулей. И не могло быть иначе, коли начали с того, что натравили соседа на соседа. Куда

теперь из этого дерьма выплыть... В общем, Вакулин сам был офицер, не крестьянин, а вояка, как и все мы. Ему казалось, что стоит соединиться с тамбовскими крестьянами – а ведь к ним присоединялись тысячи мужиков, – и юг будет блокирован, а там и выход к морю, и поддержка нас капиталистическими державами, и конец мерзавцам, засевшим в столицах. Нет классовой диктатуре! Анафема принудительному коммунизму! Долой комиссародержавие! Да здравствует свободная торговля! Дашь личный кредит!.. И когда меня спросили, выпишусь ли из коммунистов, я выпалил, что хочу умереть за право распоряжаться своей землей и тра-та-та-та. Наговорил столько, что Бакулин зачислил меня в штаб и посадил писать прокламации. Но господи боже мой, мы не подозревали, насколько быстро наш поход кончится. С тамбовцами соединиться не удалось. Красные отправили к ним армию с конницей и бронелетучками. Все решилось в несколько недель. Два брата добрались с Тамбовщины к нам. У одного было красное лицо, будто заветренное или рожа. Оказалось, их гнали несколько дней. Конные, несколько тачанок, хромые пешие, не мывшиеся, завшивевшие, с плесневелыми корками в карманах, собрались в лесу подсчитать, кто остался, и договориться, куда уходит обоз и кто будет отвлекать. Решили два часа переспать и в полночь выступить, а проснулись от хлопков. Им показалось, что черные птицы влетали сквозь кроны деревьев и бились о землю, и из них полз белесый дым. Ужас, мрак, удушье, что это, почему этот дым режет горло. Многие ослепли и разбрелись в разные стороны, воя, а навстречу им пустили еще более концентрированный газ. Это красные привезли баллоны с хлором, обложили лес и крутанули вентили. Прибывшимся к нам братьям повезло – то ли ветер сдул с опушки газ, то ли организмы их вынесли отравление, но они вышли, закрыв глаза, ушли на километр от леса и свалились в канаву. Их не нашли, потому что они были в обмороке и лежали как два мешка... А нам нечем было их обрадовать. Все с ума сходили от темноты и грязи, от степей, через которые тащишься и, увидев вдали дома, ощерившиеся огнями, думаешь: кто там тебя ждет, что случится, убьешь ли сам или выпрыгнет из стелых сеней тень с ножом. В селах же ненавидели всех – и нас, и красных, мы видели эти глаза в окнах. Я понял: нас будут топить в крови. Никто ни о чем договариваться не станет, назад дороги нет».

Воскобойник остановился, потер виски и подошел к рукомойнику. Тонкую струю воды он целиком поймал в ладони, чтобы капли не гремели об ведро. Когда Бакулина убили, они выбрали командующим Попова, донского казака, бывшего комполка в конной армии. Красные со своими бронелетучками и закованными в латы дрезинами переместились на приволжские линии и теперь шныряли там. Попытавшись прорваться в Черкасское, повстанцы потеряли много людей и оружия и поняли, что надо уходить за Волгу в деревни, где коммунистов почти не было. Они уже сами резали направо и налево и не задумываясь грабили, потому что кончилась еда, а демон безнаказанности был выпущен давно и не ими.

«Стоял март. Берега Волги таяли, и трава косматилась такой бурой гривой. Лед был уже темен и напоминал разбитое зеркало. Мы искали место для перехода и встретили двоих красноармейцев – они тоже хотели перейти за реку и затеряться. Они даже не пытались сопротивляться. Бойцы вырвали у них винтовки, открыли затворы, чтобы проверить следы пороха, но затворы были чисты и горели как солнце... А за Волгой армия рассыпалась. Я двинулся в сторону Астрахани, чтобы встретиться там с женой – таков был наш план на случай бегства. Мы нашли и стали жить под другой фамилией. Я научился прятаться, переезжал из города в город. А что еще делать, если ты заперт как в темном амбаре со спертым воздухом, какими-то насекомыми, паноптикумом. Если не умеешь имитировать благонадежность, тебя рано или поздно раскроют. Ты загнан. Десять лет мы скрывались, а потом я понял, что меня начали прорабатывать, и сам явился с повинной. Нас выслали на три года под Новосибирск. Я ненавидел их, но деваться было некуда и по возвращении приходилось продумывать каждый ход, как в миттельшпиле, когда дебют уже сыгран и ничего не вернешь, а против тебя соперник с бульдожьим инстинктом. Мне повезло – здесь и правда тихая бухта. Правда, скоро начнется

война. Газеты не врут. Я жду ее с ужасом, потому что у нас здесь отдельный мир, в некоторой степени уютный, – но и с вожелением тоже, потому что мы должны быть отмщены и дети наши достойны другой жизни».

Он решил, что я устал от его речи, и принялся выковыривать что-то из мундштука. Действительно, все, что я слышал, мешало дышать. Вряд ли он приукрашивал. Разве что умолчал, наверное, что расстрелял тех красноармейцев на темном льду, но вообще это меняло немного. Я был придавлен не только тяжестью того, чего раньше не знал и о чем не хотел думать, – но и тем, что его рассказ накладывался трафаретной линейкой на все, что произошло с отцом.

Теперь я видел в событиях новый смысл и пытался объединить их в одну логическую картину. Лампа, освещенные ею атласы на стенах и светостол, который я так и не выключил, померкли. Комната отодвинулась в темноту и уехала вправо и вверх, как слайд диафильма.

«Я рассказываю вам все это к тому, – очнулся Воскобойник, – что надо быть готовым. Пока мыслящие люди не объединятся, пусть и со всей осторожностью, все тщетно. Вырастет новый человек, который ни помнить, ни знать ничего о том, что когда-то мы жили по-другому, не будет. Вот, смотрите: в нашем кружке собрались умные молодые люди, и я бы хотел, чтобы мы вместе подумали, не стоит ли понимать войну, которую все ждут, как освободительную? Раз мы изобретаем объективы, совершенствуем радиоприемники и всякую технику, не стоит ли нам изобрести для родины лучшее будущее?» Я понял, куда он клонит, но был убит своим открытием и свернул разговор, обещав подумать и встретиться здесь же послезавтра. Воскобойник любопытно и тревожно изучал меня несколько секунд, представляя невидимые ему мотивы, из-за которых я мог бы побежать и сдать его, а затем молвил: «Хорошо, подумайте», – и вышел.

Стараясь ужиться со всем, что на меня свалилось, я долго бродил по комнате, собирая и бессмысленно перекладывая предметы, вешал на стену недосохшую карту и вновь снимал. Затем на ощупь оделся в темных сенях и, стараясь не задевать чужие валенки с галошами, выбрался на цыпочках к крыльцу и поковылял в лес. Чернели кроны сосен. Над ними недвижно и ярко стояли звезды. Ночь была безветренной. Я шагал быстрыми шажками, как заводная канарейка, загребая снег, и твердил какое-то детское четверостишие – и не заметил бы, как далеко ушел в поля, если бы не вспомнил, что давно хочу помочиться. Остановка, неловкое расстегивание со сбрасыванием рукавиц, звук плавящегося снега. Я ощутил мороз. Огней Брасова уже не было видно. Прошагав три километра и охладившись, я растерял лихорадку, которая гнала меня. Когда окончательно перестало трясти, я повернул назад и уже в комнате, скрючившись на кровати под холодным покрывалом, продолжал состыковывать узнанное с тем, что знал и раньше, но не хотел обдумывать.

Это было не так легко – вообще-то я знал отца плохо. Лишь в те несколько лет, когда он вернулся и жил с нами, мы были близки. Впрочем, я все равно помнил мало и обрывками. Они, Соловьевы, гнездовали в Руднице, смоленской деревне на два десятка домов, в черной избе. Фамилия взялась от предка, который пел в церкви фальцетом, но доверять этим рассказам, как и другим преданиям, причин не было. Жили сначала при помещиках Лыкошиных, затем сами, сея рожь и картофель, валя и сбывая лес помещицкому приказчику или попу, который тут же его перепродавал. Дед был всегда зол и недоволен и костерил всех, а жену бил, отчего дети не любили сидеть дома и предпочитали сами возить сваленный лес – всяко лучше, чем вместе с родителем связывать комли и волочить на лошади бревна, получая по уху. Непонятно, что случилось бы с моим отцом, если бы он не упросил свою мать купить у торговца житиями, развозившего их на санках, книжечки о великомученицах и Алексее Божии человеке. Прочитал по складам, впечатлился и стал искать еще. Через год из ближайшего городка Ярцево пришел офеня, только с романами. Отец предусмотрительно скопил немного медяков и отсыпал их офене за «Францыля Венциана» и «Английского милорда Георга». Вместо школы, где кроме букваря ничего не читали, он впервые в жизни добился от деда разрешения хоть на что-то, а

именно на побег в училище, которое помещики открыли для крестьянских детей в соседнем селе Казулине. При нем имелась небольшая библиотека с шершавыми лавками, одной лампой и томами «Илиады», аббата Прево и Карамзина. При входе смотритель проверял, чисты ли руки.

Этого собрания отцу оказалось достаточно, чтобы начитать на годы вперед. Он был болезненно робок. Его пытались сватать, чтобы получить еще одну работницу в дом, но раз за разом то родители намеченной девушки не могли договориться с дедом о приданом, то к сестре сватался парень, и семье просто не хватило бы денег на две свадьбы. Священник, к которому отец явился за помощью, взял задаток за сватовство и пропил, объяснив, что пропажа денег не обман, а наказание грешнику, редко посещавшему храм. Жаловаться было опасно, потому что священник подвизался еще и осведомителем. Сидя у мутного окна с видом на кусочек реки и ветлу, привалившись к которой спал сосед в картузе, но босой, отец решил бежать. Нацарапав поддельное письмо от троюродного дяди в Петербурге, где тот обещал принять наливальщиком в лавку, торговавшую ламповым маслом, он предъявил его деду и поклялся присылать три рубля ежемесячно. Дед не стал драться и выдал два золотых на дорогу.

Насчет того, где скитался и чем занимался в Петербурге, отец молчал. Единственное, что он рассказывал, – как чуть не утонул, коля лед на Неве. Они вырезали кабаны, прозрачные параллелепипеды, чтобы складывать из них ледники во дворах домов. Подгоняли дровни с удлинненными задними копыльями, клали на них глыбы и вытаскивали из воды. Однажды лошадь заскользила и ее потащило к майне, и мужики вцепились кто в поводья, кто в оглобли. Отец соскользнул в воду. Чтобы вылезти, схватился за копылья и тут же получил удар багром. Ушел под воду, хлебнул, вынырнул, цапнул, порезав пальцы, ледяную кромку и услышал рев бригадира: «Хотел дело утопить?» Получив расчет, он рискнул явиться к троюродному дяде. Тот спешил на службу и сказал, что родственнику сердечно рад и чаем бы угостил, да экономка ушла на рынок. В малой комнате что-то зашуршало. Отец сказал, что нуждается лишь в совете, и тут же получил его. Дядя вспомнил объявление, что недавно учрежденное министерство земледелия открыло школу сельских управляющих и набирало к себе учеников. Принимали всех, кто окончил хотя бы два класса земского училища, но преимущество имели обладатели рекомендательного письма.

Отец пробрался в Казулино, ночью миновав родную деревню, и упал в ноги помещику Лыкошину – как оказалось, вовремя. Немногим позже тот продал усадьбу и землю, а новый хозяин, хоть и переживал за просвещение, но училищем и устройством судеб не занимался. Лыкошин держал в уме своих многочисленных родственников и их имения и написал рекомендацию, решив, что она ни к чему не обязывает, а толковый человек куда-нибудь да сгодится. Отец, потратив последнее на билет, стоял у окна и смотрел, как на хибары наползают темные от копоти каменные дома, а за ними другие, еще мрачнее и выше. Так он въехал в Петербург в вагоне классом выше. Сверяясь с адресом на клочке бумаги, отец разыскал курсы и едва не провалился на беседе. Его спросили, возделывал ли он землю. Отец побелел, но вспомнил, как им в Руднице растолковывал шедший в соседнюю деревню мужик, что надо давать земле отдыхать и сеять на год клевер. Тогда он заинтересовался, обдумал все преимущества нового способа сева и упомянул о нем деду и соседям, но те его чуть не избили. Отец рассказал об этом. Экзаменатор чуть задержал на нем взгляд и начертил оценку в ведомости. Студента отвели на квартиру, где жили другие курсисты.

Отец вернулся домой с дипломом управляющего в год, когда кончился век, но поехал не в Казулино, а в Вышегор, имение дядьев Лыкошина, потомков обрусевших шотландцев Лесли и Апухтиных. Их конный завод поставлял тяжеловозов и орловских рысаков не только родне, но и армии и на продажу, а теперь прозябал. Отец любил лошадей и был благодарен Лыкошину, что тот послал его управлять заводом. За несколько лет он вернул в заказчики военных и понравился управляющему конюшней ткацкой фабрики в Ярцеве. Фабрикой владел сам миллионер Хлудов, в ее кирпичных корпусах с башенками гудели английские станки

и чего только не ткали из египетского хлопка – миткаль, ситец, малюскин и другие тончайшие ткани. Конечно, управляющему постоянно не хватало тяжеловозов для хозяйств и самого двора. Несколько раз в год отец гонял к нему лошадей. Апухтины ценили его и предлагали пристроить к двухэтажному каменному дому еще один, для семьи, но от деда к тому моменту сбежали дочери и тот предпочел остаться на месте, получая от сына деньги. Отец ездил уговаривать, но разговора толком не вышло. Бабка, узнав об отказе, несколько месяцев плакала у мутного окна с ветлой и вскоре умерла.

Лет через пять, говорил отец, деревня встрепенулась. В каждой избе ждали конца света, высчитывали, когда придет Антихрист и прольется огненный дождь, обсуждали колдунов, оборотней, искали знамений и молились, чтобы помазанник Божий за нас заступался. Многие притом распевали «Отречемся от старого мира». Во всем была виновата революция, а в капыревщинских волнениях – еще и фабрика, откуда исходили бунты, стачки и листовки, сначала стыдные, рассматриваемые вдаль от чужих глаз, потом всё более легальные. В дубовой роще за Вопью гомонили маевки: сбрось помещика с шеи и иди, бери землю. Апухтины все реже выезжали из Петербурга, и на их землях уже захватывали покосы. Вскоре, впрочем, все улеглось, и даже без крови, и мужики опять запели «Спаси, Господи, люди твоя», однако кое-что новое появилось в их ухватках. В заступничество царя они уже не верили, и в Божье благословение на его эполетах тоже. Отцу казалось, что это к лучшему: крестьяне перестали считать себя рабами и действовали хотя и нелепо, однако самостоятельно. Они уже вовсю продавали землю, кто-то переселялся, снимался с места, разбивал фруктовые сады. Появились и банды. Объезжая хозяйство, разбросанное по деревням, отец возил с собой ружье, якобы от волков.

Через несколько лет, когда уже шла война, отец явился в Ярцево, чтобы узнать, что изменилось в планах фабрики, и встретил в конторе мою мать. Та работала посуточно ватерщицей. Банкаброши разбирали чесаный лен на волокна, и его забирали на ватера, крутившие пряжу – мать снимала ее и несла в мотальную. Если пряжа уже была суха, ее везли упаковывать, а мокрую сушили на барабанах. Они с бабушкой жили здесь же, на окраине городка. Ей было двадцать четыре, и она поняла, что невысокий человек, чуть прихрамывающий, говорящий тихим, но очень внятным голосом и как бы выписывающий чувства руками (когда отец волновался, его кисти метались сами по себе, выдавая совсем не ту эмоцию или отношение, которые он хотел передать), – так вот она мгновенно уяснила, что этот человек нужен ей, чтобы родить меня, а потом Толю, Ольгу и Маргариточку, и совершила невообразимое: завела беседу с приезжим управляющим, выдумав какой-то предлог.

Их счастье длилось недолго. В год, когда я родился, кругом квартировали войсковые части, фабрика обшивала армию, война продолжалась, искали шпионов, а лето было жарким и Вось пересохла так, что не искупаешься. Следующей осенью отец докладывал Апухтиным, что все идет к тому, что поместья будут грабить. Кругом листовки и агитация, в Гжатском уезде задушили княгиню Голицыну и сожгли господский дом. Он предложил хозяевам распродать все имущество, кроме заводского, но Апухтины отказались и, хотя к тому моменту царь и князь уже отреклись от престола, не могли поверить, что старый мир рухнул, полагали, что династия вернется, пройдут выборы и все устроится. Вскоре отцу доставили известия, что у власти большевики и в губернию едет ревтрибунал. Ему пришлось бежать без документов. Селяне тут же явились грабить имение – рысаков им тронуть не дал комиссар, а остальное имущество растащили.

Уж не знаю почему, но мать не сказала мне, что отец уехал стеречь виноградники куда-то на Азовское море. Спустя два года он вернулся в Москву, потому что там легче всего было затеряться, найти работу и существовать без документов. Отсутствующий отец, который и был, и не был, являлся нам как привидение, маячил в доме не дольше недели и исчезал. Он, конечно, возникал, когда рождались сестры и брат, тихо помогал матери, опасаясь выходить на улицу, и вновь пропадал. Мать ругала его и однажды не переставая прорыдала несколько дней, когда

у Олечки случился ложный круп, та едва не задохнулась, и ее долго выхаживали. Остальные тоже болели, а ей приходилось управляться со всем одной. Мать злилась, что отец ее оставил одну, умом понимая, что, отсутствуя, он бережет семью от беды, а присылать больше денег не может, потому что работает задешево там, где не интересуются его прошлым, – и в конце концов отлепила отца от сердца и принимала его приезды как снег или дождь. Отец никогда не предупреждал.

Я запомнил его явление голодным летом, когда родилась Оля. До того как он появился на крыльце с мешком продуктов, мы пекли хлеб из жмыха, собирали желуди, чистили и перемалывали их. Все зерно, что было, забрали серые шинели, явившиеся однажды в дверях и ничего не объяснившие. Их главный, страшный, без глаза и со шрамом во все лицо, просипел что-то со словом «налог». Мать молча достала ключи от житни и вышла с ними. Она взяла на руки Олечку, но это нам не помогло. И никому в деревне не помогло. Виноградовы имели целый сад цветов, и, когда свадьбы проезжали мимо, молодые кланялись им, и они шли, рвали букеты и дарили жениху с невестой. Тем летом Виноградовы выдали дочь замуж и после венчания вернулись из церкви, сели за стол, накрытый в саду. Тут к ним, недоимщикам, и нагрянули. Утвари и икон не хватило – поэтому тот же безглазый, что забрал зерно у нас, схватил невесту за руку, сорвал фату и унес. Тогда в селе хоронили многих, особенно стариков, а тех, кто не мог умереть и мучился, везли в больницу. Оттуда не возвращались. Я запомнил, как выбежал за калитку, а там ковыляла телега и в ней покачивалась рябая костлявая рука.

Поэтому, слушая Воскобойника, я понимал, что все рассказываемое – правда. Во вранье не было нужды. Наоборот, сама жизнь выглядела как что-то неправдоподобное, нелепое, искривленное. В Вышегоре сразу поняли, кому досталась власть, но ничего не могли сделать. Продотрядовцы вынуждали продавать им лошадей за одну цену, в счетах у себя в конторе писали, будто купили за другую, более низкую, а разницу присваивали. Дольше всех верил в свою религию Тявса, фабричный, старый активист, но и он через два года впал в отчаяние. Тявса как-то раз заметил, что отец у нас, и зашел показать письмо в партию: «Вы большевиками были, пока были без власти в рваных брюках, а как только взяли власть, забыли, что пророчили. Вам эти строки пишет не какой-нибудь механический человек, а коммунист, который понимает, что есть и что нет, который отлично понимает, что марксизм не догмат, а руководство к действию, но так, как действуем в этом случае не преведи аллах делать еще так». Отец не стал даже исправлять ошибки и сказал, что такое письмо отправлять нельзя. Тявса прожег его взглядом, как кусок плесени, и выбежал. Его сочли правым уклонистом, выманили в Смоленск, и он сгинул.

Не помню, как эти годы переживала мать. Я выбрал нечувствительность – чего-то не понимал, а что-то не замечал. Во втором случае не я берег рассудок, а рассудок берег меня, выкидывая из памяти лишнее, чтобы я не сошел с ума. К тому же мать была молчалива и старалась не обсуждать, что происходит, и не показывать, как страдает. Лишь когда девочки подросли, они шептались вместе и иногда плакали. Мать подталкивала меня к тому, чтобы учить Толю работать, но, как я ни старался, он не овладел никаким инструментом, кроме молотка с пилой. Большую часть времени мы сидели и читали – развлечься было больше нечем. Из апухтинской библиотеки отец унес «Происхождение видов», Аристотеля с Платоном, историю войн и «Жизнь англичанина Робинзона Крузо». По детским книжкам я учил Толю, а сам перепрыгнул к томам, в которых, конечно, половину написанного не понимал. Мать чуть ожила, когда прибилась к активисткам женского движения. Активистки слушали лекции «Влияет ли цвет шерсти коровы на молоко» и «Когда не будет сельхозналога». С ними мать ходила на какую-то «коэтику», и только потом я сообразил, что «ко» значит «коммунистическая». После лекций они с активистками с особой свирепостью сплетничали.

Однажды утром в сених я обнаружил сапоги отца, у подошвы пыльные, а в голенищах блестящие столичной мазью. В темной прохладе дома он вертел в руках чашку и рассматривал

ее. «Все треснуло». Отец не уточнил, что случилось и кто виноват, но я почувствовал, что речь не о людях, не о том, что больше нет царя, не о продотрядах и их мелких жуликах, а о силах, которые кто-то выпустил из-под земли и которые устроены сложнее, чем мы думаем, и что они хотят лишить нас всего и в первую очередь друг друга. Я представлял эти силы как серых ангелов со вздыбленными волосами на иконах у бабушки Фроси. Бабушка откидывала занавеску и разрешала разглядывать иконы. На них сероликие обычно появлялись в сопровождении чудовищ: красного бородатого мужика с раздвоенной как раковина головой, сатаны, который обвесился флягами, выдолбленными из тыкв, верховного беса, пятнистого как леопард и семиглавого, и черного пса, украсившего башку как турок тюрбаном и влачившего колесницу с правителями в ад. Все они слились в темную лаву, волну, надвигающуюся с заревом из-за леса. Я просыпался ночью, брал за поводок свою плюшевую собаку, и мы шли к окну, чтобы встать там в караул. Вдруг уже катится волна багрового огня и несется к нам?

Тем летом я возненавидел сероликих за отца, которому пришлось опять покинуть нас, озираясь и хоронясь. Кто-то сказал, что едет проверка из губчека, и всем было известно, что чекисты не упустят шанс перевыполнить план борьбы с контрреволюцией, если можно поймать «бывшего». В августе я убежал с соседским мальчиком, на год младше, путешествовать. Мне хотелось найти отца в Москве и, с одной стороны, прижаться к нему, а с другой – бить, бить за все, что с нами происходило. Мы собрали пироги, тужурки, портянки, но все напрасно: на путях у ярцевского вокзала мы попытались спрятаться в угольном ящике под вагоном и были застигнуты.

Когда девочки и Толя подросли, я часто водил их в лес за малиной и подберезовиками. Сколь далеко бы мы ни забредали, я всегда знал, куда идти, и чувствовал себя внутри карты. Для меня всегда было понятно, где дом, где Воль, в какой стороне тракт. А вот шуровать палкой под кустами и в траве меж берез я не мог из-за скуки и слепоты, включавшейся, когда следовало лишь внимательно посмотреть и взять, что нужно. Сестры быстро набирали корзины, и, когда я просил их отсыпать мне ягод, они разбежались в разные стороны, дразнясь, и требовали: «Спой Лазаря!» Я пел: «Как тута быщи два брата родные, два брата родные – оба Лазаря...» Они слушали и давали ягоды. Вернувшись домой, мы бросали в молоко малину и наслаждались.

Стих я узнал от Ефросинии, у которой мы часто гостили. Маргариточка звала бабушку Фосей. Она стояла на коленях перед двумя иконами, чьи недоуменно глядящие святые были прочерчены плавно, а серые ангелы выходили из пасти самого огромного великана с клыками, бородой и глазами навывкате. Это ад, объясняла Фося. Ни на каких иконах такого ада нет, только у нас ад – это человек. Ближайшая церковь, которая приняла бы ее как свою, была где-то на краю губернии, и выбралась она туда лишь раз, чтобы покрестить мать. Фося рассказывала, что дед ее был из липован – живших у Черного моря староверов – и протестовал против того, чтобы его дочь уехала с мужем и жила среди никониан. От той веры у Фоси остались книжечка с молитвами и стихами и почерневшие иконы. А еще у нее стояли кросна.

Кросна походили на большую прялку, только были устроены сложнее. На них можно было плести в восемь ниток, с узорами – кружками, волнами, елкой, гречишкой и рыбьей чешуей. Фося за работой не отвлекалась, потому что пойдет нитка не туда – и поминай как звали, дурной узор распутать нельзя. «Смотри, Варя, – говорила она матери. – Нитки кучерявятся, не косматы. Давай Господи, чтобы и в кроснах было спешно, и была охота их вытыкать». Фося подарила нам скатерть: в первом ряду гуляли павлины, во втором тоже павлины, а между ними пряник. В третьем она думала соткать гусыню напротив индюка, в четвертом курицу и утку, в пятом голубя с ястребом, в шестом журавля и тетерева – но не успела. Когда она умирала, нас с Марго послали в Издешково за крестной. Мы приехали, а у Фоси уже онемела правая сторона. Она указала левой рукой на печь, где хранила скатерть. Мы бросились туда, но ничего не обнаружили и, как ни искали, не нашли нигде: сотканное пропало. Из Фосиных глаз только слезинка выкатилась.

Я взял из ее комнаты книжку со стихами, мне очень нравился один, бабушка распевала его протяжно: «Как ходил же грешный человеке он по белому свету. Приступили к грешну человеку к нему добрые люди. Чего тебе надо, грешный человеке, ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния? Ничего ж на свете мне не надо, ни злата, ни серебра, ни золотого одеяния – только надо грешну человеку один сажень земельки да четыре доски». В старших классах я пел это, когда ездил в ярцевскую школу, запрыгивая на проходящие поезда. Наверное поэтому мне много лет снились скругленные рельсы, будто путь все время поворачивает и мы должны были бы кружить, но круга не получалось и навстречу неслись всё новые пашни, птицы, мосты через безымянные речки, хмурые небеса и лишь изредка лес и избы вдалеке.

Когда мне было четырнадцать, нас выселили на край Вышегора, на болото. Пообещали осушенную землю, а на самом деле привезли к громадным лужам с грязью. В одну из них, споткнувшись, упала Маргариточка и не смогла встать, потому что засосало, и так лежала, крича, пока Толя не залез по колено в жижу и не дал ей руку. Мать хоть и не взяла иконы после смерти Фоси, но молилась на коленях, благодарила Бога, что успела намекнуть в письме отцу, чтобы тот спрятался. Нам-то повезло. Тех, кого приписали к зажиточным, да еще с мужчиной в семье, увозили в Ярцево и сажали под охрану.

Затем грузили в вагоны, давая зерна на несколько недель, и – стук-перестук, в путь. Куда?

Нас не трогали, хотя и грозили, как и всем хозяевам, кто жил хутором: не вступите в колхоз – вывезем. Сначала казалось, что просто пугают, а потом серые шинели нагрянули к Бухаревичам, чей дом стоял ближе всех к станции. Отобрали обувь и одежду, ходили туда-сюда, приносиваясь, примериваясь к утвари. Бухаревичи надели на детей чистые рубахи и верхнюю одежду, сколько налезло, и раздали им в долгую дорогу подушечки. У телеги с мешками все просили у них прощения, не зная, чем помочь. Один с наганом склонился к другому и что-то приказал. Тот подошел к детям и забрал подушечки. Вскоре они навестили и Перфильевых. Привели их отца из Следнева, где тот прятался у свояка в овине. Сестру крестной Елизавету с хромым мужем, завмагом с полустанка, тоже увезли на конц-пункт. Через знакомого шофера мы переправили им записку и получили ответ: «Говорят, что всех под Томск».

Спустя месяц опять приехал уполномоченный с заданием от районной тройки. Он ходил по селу и выяснял, кто из оставшихся ведет себя по-кулацки, а затем созвал партком, ячейку той самой бедноты, что плакала с нами, провожая Бухаревичей, и они что-то решали. Нас зачислили в третью категорию, что значило – переселиться, но недалеко. Им понравился наш дом. Мы взяли корову, а свиной и отцовскую выездную лошадь отдали. Наступила голодная зима в чужой брошенной избе. Младшие спали на печи, но не из-за того, что теплее, а потому что там могли удержаться лишь самые легкие. Я залез туда в первую же ночь, и кладка провалилась – вместе с матрасом и мной. Она обветшала настолько, что верхние кирпичи расшатались, просели, и полетели искры, матрас задымил, и я еле успел спрыгнуть. Издешковский печник выругался и укрепил кладку, как мог, но предупредил, что она долго не протянет. Мы бы не пережили зиму, если бы не переводы отца, который стал больше зарабатывать на кирпичном заводике. К весне мать поняла, что все равно не протянем, и все по-тихому перебрались в Фосин дом на краю Ярцева, который так никто и не купил. Для отвода глаз мы по очереди ходили топить избу и ухаживать за коровой.

Вскоре приехал отец, и на этот раз надолго. Он устал скрываться, к тому же кирпичный заводик отобрали, сообщив хозяину, что нэп закончился. Отцу исполнилось пятьдесят шесть, он выправил себе какую-то справку и явился с нею в совхоз наниматься сторожем. Показал ободранные ладони и произнес заготовленную речь, что стер бывшую жизнь. Работников в совхозе никогда не хватало, и его приняли, разрешив остаться с семьей в Фосином доме. Отец стал сторожить участок рядом с нашей окраиной. Сначала мы боялись, что нас не бросят преследовать, но безумие вдруг понемногу стихло. Никто больше не агитировал вступать в колхоз. Отец расчистил Фосины сады – один на десятину, другой на треть десятины – и зарос-

шую липовую аллею, ведущую к переезду. Срезал сухостой и больные деревья, ухаживал за грушами, сливами, вишней, красной, черной, белой смородиной, крыжовником, клубникой.

Мимо стучали и гудели поезда. Когда я ходил в школу, слушал их грохот и любил запах креозота, пропитавшего шпалы, и эти звуки и запахи стали мне домом. Чудовища спрятались, и теперь, когда уже без собаки вставал к окну ночью, над лесом не было зарева. Из-за разницы в годах отец мало говорил со мной, каких-то дельных советов я от него не дождался. Я привык быть старшим мужчиной, и под одной крышей нам стало тесно. С другой стороны, теперь я был свободен от многих забот, и родители решили, что мне лучше учиться. Отец настаивал на том, что я должен стать инженером: «Хозяев выдавливают с земли, то ружьем, то налогами, и конца этому не будет. Жизни на земле больше нет, а есть рабство». Институты для меня как сына «контры» были закрыты, поэтому отец навел справки и из близлежащих техникумов выбрал гидротехнический в орловском селе Брасово. Когда-то он ездил туда на конезавод смотреть рысаков. Наблюдая, сколько я читаю, он сказал, что Брасово – поместье великого князя Михаила Александровича, и библиотека там была могучая, и наверняка в ней осталось много книг. Но меня захватило не это, а новость, что в техникуме готовили топографов. Я мог часами разглядывать карты на форзацах книг и, конечно, чертил свои.

Перед моим отъездом отец разговорился в первый и единственный раз. «Сколько я ни управлял, неважно чем, собой, или работником, или заводом, я понял, что самое страшное – это обыкновенная, бытовая ложь, – сказал он. – Ладно, если люди врут тебе – со временем ты научаешься это распознавать; хуже, когда соврали себе, а потом пересказали тебе, и ты слушаешь и начинаешь верить. Сначала я стеснялся, а потом хватал людей за плечи, и сажал напротив себя, и просил рассказать по порядку, как все было или что он понял. По ходу перебивал и уточнял – и начинал понимать, где ложь, где лукавство, где самоубеждение. Так же и с собой: ты попал в какие-то неприятности, тебе уже долго отчего-нибудь горько, и оказывается, что тебе неудобно поступить так и этак – и даже если так поступить очень нужно, ты подчиняешься своему предубеждению и решаешь все делать по-другому. Это беда. Учись отделять свою ложь себе же». Он умолк ненадолго, а потом продолжил: «Да вот только ложь сейчас правит. Хотя ты от нее и не убережешься, но если будешь крепко стоять на земле и уважать себя, то не сломают. И пока не сломали, не бойся смотреть на все вокруг так, как будто ты чужеземец или вообще не человек, а какое-нибудь существо, неважно какое, но наделенное трезвым разумом». Я уже уяснил, что именно хочу наследовать от него, и, когда он задумался, чему еще меня научить, не удержался и обнял его.

В первые мои каникулы я видел, как он бросился проживать все не прожитое с семьей и тратил деньги, которые заработал за эти годы. Построил баню с печью и полками, которая топилась по-белому. Вышегорскую избу превратил в сарай, добавив овин с сушилкой. Купил пароконную косилку и двух лошадей, а также ручной пресс для сена, которым паковал тюки по полста килограмм. Появились свиньи, овцы и вторая корова. Мать поверила – впервые за много лет вокруг не было оскала сизых морд, деловито подгонявших к дому соседей подводы с торчащими как кости оглоблями. Если раньше люди ходили, будто пауки ползали, то теперь немного распрямились. Мы, все четверо, подросли, и мать устроилась на ту же суконную фабрику, только теперь перевязчицей. Прошло три года, и на третьем курсе я похвастался, что заменял преподавателя по черчению. Мать с отцом, сидя на полуразвалившемся крыльце, за которым зиял черный провал сеней, переглянулись и сказали: «Нарисуй нам новый дом, этот уже мал».

Получив пожелания, я изобразил дом с фасадом метров двадцати в ширину. Крыльцо помещалось слева, за ним начинались просторные сени, затем прихожая с вешалками и лавками, выходящая в столовую. Справа была кухня и печь с лежанкой, слева – маленькая спальня для тех, кто рано приходил или уходил и не хотел беспокоить других. Из столовой шел коридор в гостиную. К гостиной я решил пристроить еще одно крыльцо, со стороны, про-

тивоположной фасаду, чтобы можно было спускаться по ступенькам в сад. Мне это казалось слишком роскошным, но отец и мать стосковались по уюту и поддержали. Из гостиной я прорезал двери в зал и направо в большую спальню. Мать хотела обставить зал кадками с цветами, поэтому в плане появились четыре окна в сад и три с торца дома. Еще в зале были две двери в комнаты – нашу с Толей и сестринскую. Под окнами маленькой спальни и столовой я нарисовал кусты жасмина, а под окнами зала – сирень. Строить помогали сосед Беспалов с двоюродным братом и шурином. Они работали не мастерски, но быстро. Мать варила им суп, отец лазал по стропилам, бродил туда-сюда, записывал всё в тетрадь, следя, чтобы не забыли положить замок, где надо, и выравнивали лаги по ватерпасу, а не на глаз. Вечерами они выносили стол в сад и пили под яблонями кислое вино. Новый дом был огромен и долго пах смолой. С опушки рощи, где мы с Олей, Маргариточкой и Толей лежали с корзинами, набрав белых грибов, он казался кораблем. Дело было перед тем, как я уезжал начинать последний курс в Брасове. Стоял безветренный, затянувшийся жаркий август, но я вовсе не был спокоен.

Тем летом, сойдя в Ярцеве, я не пошел домой, а пересек пути и спустился вниз по пойменному лугу. Был серый мокрый день, и я рассматривал следы на тропе: где велосипед с широкой шиной проехал, где ребристый с рисунком след сапога, где спешили узкие безымянные ботинки. Вдали шумела вода под мостом через Вопь, а за ним взмывал обрыв и выглядывала из-за деревьев башня с круглыми часами. Обычно здесь я сворачивал вправо и брел вдоль Вопи к нашему переезду. И тут я заметил косцов. Косцы шли по полю, что-то грозно высматривая. Поле было огромно, и вот они поделили его на участки и шли. Взмах – упали мать-и-мачеха и полынь. Они косили не все подряд, а выбирая: то пару цветков, то кусок поля. Нескошенные травы не распрямлялись, как бы опасаясь посмотреть в их сторону. Ничего больше не происходило, но что-то заставило меня побрести не обычной дорогой, а без разбору по берегу реки вправо в поисках брода или моста. Пройдя немного, я встретил поворот Вопи, где она становилась узкой, мелководной, с быстрым течением, и вода была чистая, словно хрусталь. Я почувствовал ужас и стоял, не понимая, откуда он взялся. Кажется, косцы смотрели на меня. Дома ужас исчез, но я запомнил это чувство. А в конце лета началось странное.

Я мало с кем дружил в школе, но все-таки, приезжая из техникума, приходил в субботний полдень к башне повидаться с бывшими одноклассниками. Наверху били круглые часы и ревел гудок, а со стороны реки на склоне под фабричными стенами лежали в траве мы и грызли травинки. Издалека и нехотя зародился сам собою разговор, что у знакомых, у соседей, да даже у родственников стали исчезать в семье люди. Сначала один рассказал, что у него пропал дядька, уйдя на перерыв в столовую, затем другой вспомнил, как неделю назад сосед не вернулся с дежурства, его искали, а потом сказали, что срочная командировка, но лица родных его посерели. Игнатенков, все время смотревший в сторону и люто, до кашицы мочаливший травинку, просипел, что батя вчера шумел с сослуживцем, мол, план у них хоть и жиже, чем в других областях, но все равно не хватит арестов ни по первой, ни по второй категории, надо поднимать агентуру искать врагов. Что значат эти категории, он не понимал, но мне было достаточно услышанного, я ощутил, что страх на лугу накрыл меня не зря.

Покупая газеты несколько недель подряд, я перечитывал их по три раза, стараясь уловить, что скрывается за передовицами. Я быстро понял, что бессмысленно верить сказанному в статье – это может быстро отмениться, – а важен тон, которым она написана. Этот тон предназначался, чтобы донести какими-то звуковыми колебаниями, расстановкой слов то, что на самом деле скрывалось за новым законом или указанием. Надо сказать, не один я был таким чутким, а многие. Но все боялись обсуждать уловленное – разве что с теми, кто от них крепко зависит: муж с женой, мать со взрослым сыном. Наконец я встретил статью о необходимости очиститься, о врагах, которые затаились и ждут часа. Я побоялся заговорить с отцом об этом и положил статью ему на стол. Он отказался брать газету в руки: нет, я не хочу, я живу другую жизнь, и все это знают, и когда я возвращался, ходил туда (кивок через левое плечо), и

мне сказали: не шебуршись, ты смысл свои грешки. Они врут, крикнул я, они всегда врут, а ты учил меня ненавидеть ложь. Мы же видели, как нищают соседи, да вообще все вокруг, а они грабят, выскребают последнее. Отец посмотрел на меня, как на диковинное существо, перевел взгляд на буфет и произнес ровным голосом: «В магазинах есть хлеб. Ты учишься, и все твои знакомые тоже, а для меня сама возможность учиться была счастьем. Все поправилось. Нас сейчас никто не трогает». Его руки складывали и рвали газету, стопка становилась все толще, он кромсал уже крошечные клочки. Я ушел.

Тогда, в высокой траве, мы с Толей и сестрами возились целый час и потом обирали друг с друга муравьев. «Давайте поклянемся, – сказал я, почувствовав себя мальчиком в белой рубашке из журнала „Чиж“ – Давайте поклянемся, что что бы с нами ни случилось, мы не потеряемся, а если потеряемся, будем искать друг друга до последнего». Дети молчали и смотрели на меня непонимающими глазами. Им не терпелось побежать к ужину. Только Оля всю дорогу держала меня за рукав. Шагая по разнотравью, мы шли впереди всех, споткнулись, провалившись ногами в старую борозду, и упали. Ольга положила мне голову на плечо и обняла. Земля была теплая, шуршали травы, звенела вечность. Прележав минуту молча, мы встали. Все уже ушли. В саду отец срывал яблоки, стоя на лестнице, и бросал их вниз в мягкую длинную траву.

И вот не прошло полугода, как я сидел у светостола и вертел в руках обтрепанное, сложенное вчетверо письмо, которое вытащил из кармана. Скоро в чертежную должен был опять заглянуть Воскобойник, а у меня так и не находилось для него ответа. Измучившись, я приложил лоб к замерзшему стеклу. Эти кружки и подпольные ячейки – к чему они? Что мы изменим своей возней в крошечном сельце? И какой из меня заговорщик? Чего я вообще хочу? Я хочу изобретать станочки и копать с приборами, вот и все. Еще хочу летать на шаре и снимать с воздуха, переводить фото в карты и скитаться в экспедициях, составлять планы – когда ты где-то далеко в горах и пустынях, легче уклоняться от взглядов чудовищ. Бросаться в подпольную борьбу, конечно, благородно, но я так не хотел. Желая выяснить, что с отцом, и найти его, я одновременно считал, что как-нибудь вывернусь, ускользну от оскалившейся головы того громадного бородача с иконы и смогу жить свою жизнь.

Я очнулся и произнес вслух: «Нет, я хочу найти отца». Воскобойник покачал головой. «Вот такая у меня идея», – добавил я и рассказал о разговоре с Игнатенковым под башней. Воскобойник вздохнул и молча протянул мне ладонь. Он даже не стал вытребовывать обещание хранить в тайне все, что я узнал; с другой стороны, если что, ему, наверное, было бы легко вывернуться, объявив меня, сына арестованного, лжецом, желающим очистить запятнанное имя. Разговор с Воскобойником заставил меня передумывать всю свою жизнь, и за это я был благодарен и пожал его руку рукой холодной, как у мертвеца. Хотя отец и был по-прежнему далек и сиял откуда-то сбоку, теперь я знал, что должен вернуть его, правдой или неправдой, подкупом, как угодно сделать так, чтобы он навсегда приехал в наш дом, в комнату с жасмином под окном, к липовой аллее, ведущей к переезду, и ко всем нам, ждущим его за вынесенным под яблони столом. Когда все эти картинки пролетели перед глазами и слезы были выплаканы, я понял, что обманываю себя, и обратной дороги из пасти красного великана нет, и отныне отцом придется быть мне.

Тем не менее, сдав последние экзамены, я сел в душный, тесный и пахнувший мокрым бельем вагон до Смоленска. Ударили морозы, и городские купола горели, как солнца над клубами пара, поднимающимися со дна города. В дыму шныряли подводы и редкие трамваи. Почему-то мне запомнился мальчик в картузе, подпоясанный бечевой, который вез повозку – довольно большой ящик, закрепленный на велосипедных колесах со спицами. Мальчик впрягся, встал под дугу как лошадь и так брел по улице. Я блуждал в пару и допытывался у интеллигентных горожан – то есть тех, кто носил очки, – как пройти к управлению НКВД. Наконец мне посоветовали, и я остановился у вытянутого пятиэтажного дома, каждое крыло которого завершалось башней. Слева от дверей сидел желтый как хина человек в фуражке со

звездой. Я спросил: «Где мне справиться о пропавших без вести? Может, нашли уже». «За справками... сейчас», – пробормотал желтый и написал адрес на обороте мятой карточки.

Через пять минут я стоял перед деревянным домом без особых примет. Обойдя его, я нашел дверь и шагнул в полутьму бюро. Справа светилося крошечное окошко. Приглядевшись, я понял, что ничего кроме него в огромной комнате нет, и сунул туда свое лицо. Тут же ко мне сбоку, нос к носу, приблизилась женская физиономия: «Что вам надо?» Я отпрянул. Из комнаты в окошке была видна примерно треть женщины. Словно отвечая урок, я оттарабанил: «Соловьев Дмитрий Давыдович, тысяча восемьсот семьдесят пятого, Ярцево, Крестьянская, дом шесть. Нет ли таких среди пропавших?» – «Ш-ш, тише! Что вы! Нельзя! Ваши документы». Я положил студенческий билет. Рука взяла его. С минуту документ изучался. «Ваш отец пропал или что-то еще?» Я ответил: «Что-то еще». Окошко закрылось. Спустя двадцать минут послышался стук каблуков по линолеуму, оно распахнулось вновь, в нем опять мелькнула треть женщины, и я услышал, как она шепнула: «Выбыл». Пока до меня доходило, что это значит, она накинула крючок со своей стороны. Когда же я, оставшись в темноте, наконец сообразил и крикнул: «Куда?», – отозвалась: «Справок не даем», – и добавила: «Не интересуйтесь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.